ЛЮДИ ИЗ ПИРЕЯ

Афины, V век до нашей эры



ГЕННАДИЙ КАЗАНЦЕВ

Геннадий Казанцев

Люди из Пирея

«Автор»
2026

Казанцев Г.

Люди из Пирея / Г. Казанцев — «Автор», 2026

Николай Кузьмин, кузовщик из Тольятти, впервые в жизни выбрался за границу. В последний вечер он поднимается на пирейский холм посмотреть закат — и город под ним гаснет весь сразу. Ни огней, ни моторов. Внизу, в чёрной гавани, ходят факелы, а к далёким Афинам по двум цепочкам огней катится плач.У Николая нет ни языка, ни покровителя, ни денег — только руки, которые двадцать лет выправляют металл. А здесь, в Пирее, из тонкой бронзы выколачивают щиты.Афины, V век до нашей эры. Флот только что погиб, и город ждёт осады.

© Казанцев Г., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 5
Глава 2. Никто не спал 9
Глава 3. Беглый 13
Глава 4. Молотки 16
Глава 5. Кефаль 20
Глава 6. Слова-кочки 23
Глава 7. Облицовка 27
Глава 8. Сто пятьдесят кораблей 31
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Люди из Пирея

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
НОЧЬ «ПАРАЛА».
Глава 1. Кастелла

Лестница на Кастеллу начиналась от набережной Микролимано, между двумя рыбными тавернами, и сразу забирала так круто, что на третьем пролёте Николай остановился и сделал вид, будто разглядывает машины.

Машины тут стояли как придётся: двумя колёсами на тротуаре, впритык к стенам, к мусорным бакам и друг к другу. Греки парковались так, словно кузов им выдали бесплатно. У белой «Панды» на углу была вмята задняя дверь — низко, на высоте руля от мопеда, с короткой складкой посередине. Николай присел и провёл по вмятине ладонью. Металл вытянут, но не порван. Изнутри подставить поддержку — гладкую тяжёлую железку, на которую принимают удар с изнанки, — пройтись киянкой по кругу, от краёв к середине, и дверь станет как была. Полчаса работы. Шпаклёвка не нужна, краска цела.

Двадцать лет он смотрел на машины именно так. Лиза говорила, что он и на людей так смотрит: где вмятина, где ржавчина и во что обойдётся ремонт.

Путёвку она подарила ему в августе, на сорок четыре года. Приехала из Самары прямо в гараж, при мужиках положила на верстак конверт и объявила, что сдать его нельзя: всё оплачено, виза сделана, а он, кроме Сочи, нигде не был и так и помрёт, если его не выгнать. Мужики хохотали: они были в доле. Лиза с весны по вечерам варила кофе в кофейне возле общежития и откладывала, тур нашла подешевле, а недостающее добавили её мать и полкооператива — кто сколько мог. Николай ворчал до самого Стамбула, где была пересадка, а на второй день в Афинах ворчать перестал.

С Лизиной матерью они разошлись давно и без драки. Лиза росла на два дома, а третьим домом у неё был его бокс в гаражном кооперативе: там она делала уроки на перевёрнутом ведре, пока он рихтовал чужие крылья. После училища Николай отслужил водителем в автобате, поработал на ВАЗе на сварке кузовов и ушёл на себя. «После ДТП — как новая», — было написано у него на воротах, и в Автозаводском районе знали, что это правда.

Гостиницу Лиза выбрала в Пирее — подешевле и чтобы рядом море. Море было рядом, но из окна виднелись стена соседнего дома и кусочек мачты. В Афины он ездил на метро, по зелёной ветке до Монастираки, и выучил по-гречески пять слов. «Кали мера» — доброе утро. «Эфхаристо» — спасибо. «Нэ» — да, хотя звучит как «нет»; на этом он попадался дважды. «Охи» — нет. «Неро» — вода.

На Акрополь его водила экскурсовод Марина, загорелая, в соломенной шляпе, с голосом завуча. Парфенон оказался без крыши: сквозь колонны просвечивало небо. Марина рассказывала про пропорции, а Николай думал, что без крыши здание похоже на кузов, с которого сняли все панели: каркас стоит, а машины нет. Целый храм, под крышей, он увидел потом внизу, на Агоре, — небольшой, на пригорке, весь в колоннах, будто только что сданный. Марина объяснила, что храму повезло: много веков в нём была церковь, и потому его не растащили на камень.

А в музее, в длинной двухэтажной галерее на краю Агоры, Николай застрял у щита.

Щит лежал под стеклом — серый, с прозеленью, смятый в кривой овал, как крыло после лобового. Марина сказала, что этот щит афиняне взяли в бою у спартанцев, выбили на нём точками надпись — «Афиняне от лакедемонян, из Пилоса» — и повесили на площади, чтобы все видели. Группа пошла дальше, а Николай остался.

На надпись он почти не смотрел. Бронза была тонкая, в полмиллиметра, не толще, и выколочена целиком, одним куском, без единого шва. Николай знал, что значит вытянуть из плоского листа глубокую чашу. Под молотком металл твердеет, и его раз за разом приходится отжигать — греть докрасна, чтобы снова стал мягким, — иначе пойдёт трещинами. А у этих не было ни пресса, ни горелки, ни лампы над верстаком. Николай прикинул, сколько провозился бы с такой чашей сам, и честно ответил себе: не знаю. Может, неделю. Может, вообще бы не вышло.

Спросить, как они это делали, было не у кого. Марина уже звала к выходу.

Сдачу в ларьке у метро ему дали монетой в один евро, и Лиза по видеосвязи велела её перевернуть. На греческом евро была сова — с древней монеты, объяснила Лиза, ей одногруппница рассказывала. Николай сунул сову в нагрудный карман ветровки, к очкам: довезти.

*

Наверху, у белой церкви Пророка Ильи, было людно и ветрено. Ветровку он всю дорогу нёс на локте — Лиза велела взять, мол, на горе дует, — и теперь надел её с благодарностью.

Вдоль парапета стояли парочки, мальчишки гоняли на самокатах, старик выгуливал толстую таксу, из кафе неподалёку тянуло кофе и музыкой. Отсюда было видно всё сразу. Внизу лежала гавань, где он сегодня обедал, — маленькая, почти круглая, с узким горлом в открытое море, тесно набитая яхтами, а по кромке столики таверн под навесами. Правее, за крышами, большой порт: краны, белые многопалубные паромы. За портом лежал длинный горбатый остров, Саламин, и солнце садилось точно за него. На юге открывалось море, пустое до самого горизонта, и только у края, в дымке, синел конус горы на Эгине: туда он во вторник плавал на таком же пароме.

На северо-востоке, до самых гор, тянулись Афины — белые, плоские, бесконечные.

Лиза позвонила, когда солнце коснулось острова. У неё в Самаре был уже девятый час. Она сидела в общаге на кровати, поджав ноги, с мокрыми после душа волосами.

— Пап, покажи!

Он повернул телефон. Лиза ахнула, потом потребовала гавань, потом остров, потом море.

— А Акрополь видно?

— Сейчас подсветку включат — увидишь.

— Ты куришь?

— Нет.

— Пап.

— Одну.

Солнце ушло за Саламин. Город начал зажигаться: сначала набережная внизу, потом гирлянды на мачтах, потом улицы — одна за другой, по склонам, до самого горизонта. Последним, далеко на северо-востоке, над огнями Афин, загорелся Парфенон — маленький, светлый, как кусок рафинада.

— Вижу! — закричала Лиза. — Пап, ты там прямо как…

Картинка застыла. Лиза так и осталась на экране — с поднятой рукой, на полуслове. Потом поверх неё выскочила надпись: «Соединение прервано».

Николай опустил телефон и не увидел города.

*

Не было набережной. Не было гирлянд на мачтах, улиц по склонам, рафинада над Афинами. Не было ничего — во все стороны, до самого горизонта.

В Тольятти, когда вышибает подстанцию, свет гаснет кусками: квартал, за ним другой, а дальние горят как ни в чём не бывало. Здесь погасло всё и сразу, будто весь мир выдернули из розетки.

И стало тихо. Только сейчас Николай понял, что всю неделю слышал под всеми звуками ровный гул — моторы, мопеды, кондиционеры, музыку — и уже на второй день перестал его замечать. Теперь гула не было. Где-то внизу трещали сверчки, и больше ничего.

Первая мысль была дурацкая и страшная, и он её отогнал: ни вспышки, ни грохота не было. Вторая мысль была рабочая. В порту стояли паромы. У парома свой дизель и свои генераторы, паром не гаснет оттого, что в городе вырубили свет. Николай посмотрел туда, где минуту назад светились три белых борта. Там лежала чернота. Не тёмный паром — просто чернота, как и везде.

Над морем, высоко, только что мигал огнями самолёт. Самолёта тоже не было.

Небо на западе, над островом, ещё светилось — тускло, как остывающий металл. А на востоке уже проступали звёзды: сперва по одной, потом горстями.

Николай обернулся. Церкви не было. Там, где только что белела стена с иконой над дверью, чернел колючий куст. Не было ни парапета, ни плитки. Кроссовки стояли на голом камне, шершавом, в трещинах, а в трещинах росла сухая трава. Пахло чабрецом — бабка заваривала такой от кашля.

— Эй! — сказал он. Потом крикнул громче: — Эй!

Внизу залаяла собака, и всё.

На экране телефона висело «Нет сети». Он набрал сто двенадцать — номер, который, говорили, работает в Европе с любого аппарата. Телефон даже не попытался позвонить.

Тогда Николай сделал то, что висело плакатом у кабинета терапевта в поликлинике: проверил себя на инсульт. Плакат назывался «УДАР». «У» — улыбка. Он включил фронтальную камеру и улыбнулся. С экрана из темноты ему ответил небритый мужик с испуганными глазами, и у мужика поднялись оба уголка губ. «Д» — движение. Николай поднял обе руки, и обе поднялись. «А» — артикуляция.

— Кузьмин Николай Сергеевич, — сказал он вслух. — Сорок четыре года. Город Тольятти.

Голос прозвучал в тишине так громко, что он оглянулся.

«Р» — решение: срочно звонить в скорую. Звонить было некуда.

Батарея показывала тридцать восемь процентов. Без сети телефон будет искать вышку и к утру сожрёт сам себя. Николай включил режим полёта и ещё долго стоял, сжимая погасший телефон, как гаечный ключ.

*

Внизу кое-где появились огоньки — редкие, рыжие, тусклые. Не фонари, а огонь. Николай не сразу понял, что с ними не так, а потом сообразил: огоньки не стояли на месте. Их несли.

Ветер с моря принёс запахи, и запахи были не те. Ни выхлопа, ни жареной рыбы из таверн. Дым — древесный, как от печки на даче. Водоросли. И что-то густое, смолистое, как от сосновых досок, нагретых солнцем.

Больше всего огней собралось у гавани. Они сбились в кучу у самой воды, там, где днём стояли таверны, и туда же сбегались другие — по одному, по двое, со всех сторон. Николай вгляделся. У берега над водой чернело что-то длинное и низкое — ни яхта, ни паром.

Потом закричала женщина.

Сначала он решил, что кричит птица. Голос поднялся, сорвался и снова поднялся — на одной ноте, без слов, — и к нему прибавился второй, третий, десятый. Так голосила бабка, когда хоронили деда; пятилетний Николай тогда спрятался под стол и зажал уши. Здесь голосили так же. Он разобрал только «ай-ай», а это поймёшь на любом языке.

Плач пошёл по берегу. От гавани он разбегался по тёмному городу, от огонька к огоньку, будто его несли из двери в дверь. А потом Николай увидел, куда он уходит.

От берега вглубь суши тянулась нитка огней, длинная и прямая, как ночная трасса, а рядом с ней, на расстоянии, угадывалась вторая. Между ними огней было больше, гуще: там,

похоже, жили. Плач уходил по этой дороге. Николай слышал, как он слабеет вдали и как его подхватывают дальше и дальше — от моря в темноту, туда, где ещё недавно стояли Афины.

Там, где светился Парфенон, теперь горел один огонёк. Рыжий, живой, не электрический.

Над головой разгоралось небо. Звёзд стало столько, сколько Николай не видел с армии, с оренбургской степи, где ночью в карауле больше смотреть некуда. Через всё небо тянулся Млечный Путь.

Он застегнул ветровку и проверил карманы: телефон, бумажник, зажигалка, полпачки сигарет, очки, сова. Подумал о Лизе, застывшей на экране с поднятой рукой, и запретил себе об этом думать. Сначала надо понять, где он. Внизу были люди, а люди — это вода, дорога и хоть какие-то слова.

Он пошёл вниз, на голоса.

Глава 2. Никто не спал

Спускаться пришлось с фонариком телефона. Тропы не было: склон, камни, сухая трава и колючие кусты, которые цеплялись за джинсы, как репей. Дважды Николай съезжал на подошвах, один раз сел, ободрав ладонь, и выругался вслух — и даже это прозвучало громко.

Склон упёрся в стену. Стена была из сырцового кирпича, серого и рыхлого, на каменном основании. Такой кирпич Николай узнал по крошке под пальцами: на даче у бывшего тестя стоял саманный сарай, и тесть каждую весну обмазывал его глиной. Николай пошёл вдоль стены, нашёл проход и, прежде чем выйти на улицу, выключил фонарик. Свет у телефона был белый, резкий, такого здесь, похоже, не видели, и пугать людей Николаю не хотелось. Да и батарею было жалко: тридцать один процент.

Улица оказалась прямая. Шагов через сто её пересекла другая — под прямым углом, ровно, как по линейке, — потом третья. Николай даже остановился. В Автозаводском районе, где он прожил всю жизнь, улицы тоже нарезаны прямоугольниками, кварталами с номерами: свой седьмой он мог обойти по кругу за двадцать минут. Тот город кто-то начертил на бумаге для автозавода. Этот, выходит, тоже чертили.

Дома стояли глухие: стены без окон, только двери, а над стенами скаты черепичных крыш. Кое-где двери были распахнуты, и во дворах горели огни — маленькие, жёлтые, коптящие. На пороге одного дома сидела женщина. На ладони она держала глиняную плошку с носиком, из носика торчал горящий фитиль. Женщина раскачивалась и выла. Николая она не заметила. Пахло горелым маслом — так пахнет кухня, когда на сковородке пережгли оливковое.

По улице к морю шли и бежали люди. Мужчины в коротких, до колен, рубахах, кто босиком, кто в сандалиях, кто с факелом, кто без. Женщина в длинном платье, с покрывалом на голове, тащила за руку мальчишку. Старик брёл, держась за стену. На Николая никто не смотрел. Он пошёл за ними.

Гавань открылась сразу за углом, и он её узнал.

Та же. Маленькая, почти круглая, с узким горлом в море; тот же мыс слева, тот же изгиб берега, по которому он днём шёл к таверне с синими столами. Только не было ни таверн, ни столов, ни яхт. По всей кромке гавани, от воды вверх, стояли длинные навесы на каменных столбах, крытые черепицей, — ряд за рядом, вплотную один к другому. Под каждым навесом от воды поднимался наклонный спуск, как на лодочной станции на Волге, где Николай мальчишкой помогал вытаскивать лодки. Там такой спуск называли слипом.

Навесы стояли рядами, как боксы в гаражном кооперативе, и почти все были пустые. В двух или трёх в глубине темнело что-то большое. В остальных — ничего: чёрные проёмы, один за другим, через всю гавань.

*

У воды, у крайнего спуска, лежал корабль.

Таких Николай никогда не видел. Длинный — метров тридцать пять, а то и больше, — узкий, низкий, с высокой кормой, загнутой вверх и вперёд, как хвост у скорпиона. Корма лежала на спуске, нос смотрел в воду. По борту в несколько ярусов шли дыры и прорези для вёсел, а сами вёсла валялись на берегу, сваленные, как жерди у забора. Под носом, у самой воды, торчал таран — бронзовый, литой, с плоскими рёбрами. Такой кусок бронзы весил, наверно, не меньше хорошего двигателя. А над тараном с борта на Николая смотрел глаз — каменный, белый, с нарисованным зрачком, вставленный в дерево, как в голову дорогой куклы.

На камнях вокруг корабля лежали люди — десятки, может, сотня. Лежали, как упали: кто на спине, кто ничком, руки в стороны. Николай сначала решил, что это мёртвые, и у него ослабли колени. Потом один из лежащих сел и о чём-то попросил — по голосу было ясно, что

пить, — и ему поднесли кувшин. Ладони у парня были в крови и лопнувших мозолях, удержать кувшин он не мог, и женщина поила его, как ребёнка.

Гребцы. Пригнали эту штуку издалека и всю дорогу не выпускали вёсел.

Посреди толпы на перевёрнутой лодке стоял человек и говорил. Голос у него сел, он сипел, срывался и начинал снова, и всякий раз, когда он замолкал, толпа отвечала стоном. Николай не понимал ни слова. Он разбирал только звуки: «наус», «наус» — это повторялось много раз; и имя, которое человек выплёвывал, как кость, — «Лисандрос». И ещё одно слово кричали со всех сторон, показывая на корабль: «Паралос!» Так зовут корабль, догадался Николай. Как пароход.

Женщины рвали на себе волосы. Николай видел такое только в кино и думал, что это для кино. Молодая, в белом, медленно вела ногтями по щекам, сверху вниз, и на щеках оставались тёмные полосы. Старуха рядом била себя кулаками в грудь — мерно и глухо, как молотком.

Потом человек на лодке договорил и слез, и вместо него закричал другой — коренастый, седой, с палкой. Этот кричал не на толпу, а на мужчин: тыкал палкой в них, в канаты, в навес, в корабль. Мужчины взялись за канаты, привязанные к корме. Канатов было два — толстых, лохматых, мокрых, — и они уходили вверх по спуску, в глубину навеса. На каждый вставало человек по семьдесят, а то и больше.

Раздумывать Николай не стал. Он увидел, что на дальнем канате не хватает рук, подошёл и взялся. Канат пах смолой. Сосед, лысый мужик, от которого несло рыбой, покосился на его штаны, но ничего не сказал. Седой протяжно закричал, и все потянули.

Кто-то впереди заорал: «Рюппапай!» — остальные подхватили, налегли на последнем слоге, и корабль дрогнул. «Рюппапай!» — и ещё рывок. Наверно, у них это было «раз-два, взяли». Под килем скрипели брёвна, смазанные чем-то жирным, — от них несло прогорклым салом, — и корпус полз вверх по спуску рывками, по шагу на рывок. Николай упирался кроссовками в камень, тянул и думал, что на Волге лодки вытаскивали точно так же, только «раз-два, взяли» кричал дядя Гена, а вместо корабля была облупленная «казанка».

Корабль вполз под навес. Седой стукнул палкой по столбу, и все бросили канаты.

Николай разогнулся и посмотрел на ладони. Канат обжёг кожу, но мозоли у Николая были свои, рабочие, и выдержали.

Седой подошёл к нему, забрал у кого-то факел, поднёс поближе, оглядел штаны, кроссовки, лицо — и взял Николая за руку. Повернул ладонью вверх. Помял мозоли у основания пальцев — те, что набиваются от молотка, — потом белые точки шрамов на предплечье, от сварочных брызг. Хмыкнул. И показал свою ладонь — широкую, коричневую, в мозолях, с белым шрамом поперёк, будто от топора.

— Технитэс, — сказал седой и постучал пальцем Николаю по ладони.

Николай услышал знакомое.

— Техник? — Он хлопнул себя по груди. — Ну да. Жестянщик я.

Русских слов седой, конечно, не разобрал, но кивнул — так кивают, когда узнают своего.

*

Он махнул Николаю: пошли — и привёл его к стене навеса, где у столба стояли кувшин и узелок. Налил воды в чашку — чёрную, блестящую, ровную, словно покрытую эмалью. Николай пил и не мог напиться, а поверх чашки разглядывал покрытие: ни потёка, ни пузыря. Хорошая работа.

Потом седой развязал узелок. Там была лепёшка — серая, плотная, не печёная, а словно замешенная и примятая ладонями, — и горсть маслин. Седой разломил лепёшку пополам. Николай откусил и узнал вкус: ячмень, поджаренный и смолотый в муку. Бабка в деревне так же разводила толокно, только из овса. Ячмень Николай не любил с армии, где перловку звали шрапнелью, но свою половину съел до крошки.

Они сидели под навесом, плечом к плечу, на ещё тёплом камне. Седой говорил. Николай не понимал слов, но понимал, что старику надо выговориться, а перед кем — неважно. Тот показывал на море, на север, растопыривал пальцы обеих рук — много, много, — потом сжимал кулаки и переворачивал ладони вниз, будто клал что-то на стол и накрывал. Снова повторял: «Лисандрос». Потом приложил ладонь к своей груди, показал два пальца и закрыл лицо руками.

Двое сыновей, перевёл для себя Николай. Там, где было много кораблей, которых больше нет.

Он не знал, что сказать, и сказал по-русски:

— Может, ещё живые.

Старик кивнул, как будто понял.

Тогда Николай спросил о главном. Он ткнул пальцем в землю у себя под ногами:

— Пирей?

Старик поднял брови.

— Пейрайеус, — сказал он. — Най.

«Най» было почти «нэ» — то самое «да», на котором Николай попадался всю неделю. Он показал в темноту на северо-восток, туда, где днём стояли Афины:

— Афины?

— Атэнай, — сказал старик, и голос у него дрогнул. — Атэнай.

По голосу было слышно: старик горюет не только о сыновьях.

*

Ночью к ним подходили не раз. Один — худой, в плаще, с факелом — остановился над Николаем, долго смотрел на его штаны, потом спросил что-то резко, с угрозой и протянул руку, будто хотел взять за ворот. Николай встал. Худой был выше на голову, зато Николай был вдвое шире, и руку тот убрал сам. Тут же между ними оказался седой: что-то рявкнул и замахнулся палкой. Худой ушёл, оглядываясь. Николай запомнил его взгляд: так смотрят на бесхозную вещь, которую сегодня унести не вышло.

Никто не спал. Николай заметил это под утро, когда сам пару раз проваливался в дрёму, сидя у столба, и всякий раз просыпался оттого, что вокруг ходят, говорят и плачут. Женщины так и сидели у воды. Мужчины сходились кучками, спорили вполголоса, расходились и сходились снова. Гребцы лежали на камнях с открытыми глазами.

Перед рассветом небо над длинной горой на востоке посерело, и закричали петухи — сначала один, где-то за сараями, потом по всему городу.

*

Когда рассвело, он поднялся по склону туда, откуда вечером смотрел на город. Снизу, от воды, ничего было не разглядеть: мешали крыши.

Пирей лежал внизу целиком. Низкие дома под черепицей, плоские дворы, дым из сотен очагов, прямые улицы, нарезанные клетками. Три гавани: круглая, где он провёл ночь, вторая, побольше, тоже круглая, и большой порт за мысом. В каждой стояли ряды навесов, и в большинстве было пусто. По берегу, вокруг всего города, шла стена с башнями. А от неё вглубь, на северо-восток, уходили две другие — длинные, прямые, рядом, как рельсы, — и терялись в утренней дымке у холмов на горизонте.

Там, где вечером горел подсвеченный Парфенон, над далёким тёмным гребнем стоял храм. Под крышей. Целый. С острыми треугольниками на торцах, как у того, на Агоре, только больше, — чёрный на светлом утреннем небе. Рядом с ним торчало вверх что-то тонкое и высокое, вроде антенны.

Пять дней назад Николай стоял там между колоннами, и над головой у него было небо.

Значит, дело было не в том, где он оказался. Дело было в том, когда.

Он сел на камень и долго сидел.

*

Когда он спустился, город уже проснулся, если вообще спал. У дверей стояли каменные столбы в рост человека, четырёхгранные, с бородатой головой наверху, раскрашенные: борода чёрная, губы красные, глаза обведены. Посреди столба торчало то, что в музее на Агоре у таких столбов было отбито. Николай посмотрел, крякнул и отвёл глаза.

Мужчины уходили. Они шли поодиночке и кучками, накинув на плечи плащи, все в одну сторону — к воротам, за которыми начиналась та самая дорога между двух стен. Женщины оставались. Седой тоже собрался в путь. У навеса он положил Николаю руку на плечо, что-то сказал и показал ладонью вниз, к земле, — жди? сиди? — и ушёл, не оглядываясь.

Николай смотрел им вслед. Можно было пойти за ними — в Афины, к той скале, где он хоть что-то знал. Он не пошёл. В Афинах он будет чужим вдвойне: там ни моря, ни гавани, ни одного знакомого лица. А здесь порт, а в порту всегда полно чужих — моряков, грузчиков, кого угодно. Здесь он знал гавань и одного старика. И здесь, кажется, судили по рукам.

А главное, здесь был холм. Вечером, на закате, он поднимется туда и встанет на то же место, в тот же час. Глупо, но больше зацепиться было не за что.

Ждать старика он тоже не стал. У того своё горе, и кормить чужого он не обязан.

Николай сел у навеса и пересчитал, что у него есть. Двадцать евро бумажками. Горсть монет. Ключ-карта от номера. Очки. Зажигалка. Телефон — двадцать девять процентов. Сова. И полпачки сигарет. Последних, если подумать, на всём свете.

Курить сразу расхотелось. Он убрал пачку, встал и пошёл по улицам — искать, где здесь стучат молотками.

Глава 3. Беглый

Молотков в городе не было.

Николай обошёл, наверно, полгорода. Улицы шли клетками, и он нарочно запоминал повороты — направо, два квартала прямо, налево, — как запоминал бы дорогу в чужом гаражном кооперативе, где все ряды одинаковые. Стучало много где, но всё не то. За одной глухой стеной что-то мерно и тупо било в дерево. Николай постоял и узнал: ткацкий стан. У бабки в чулане стоял похожий, и она так же прибивала нитку к нитке. За другой стеной кололи дрова. В одном дворе, за распахнутой калиткой, стоял гончарный круг, вокруг рядами сохли горшки, а у круга никого не было. В другом стена была закопчена, у порога лежала горка окалины — кузня. Горн остыл, наковальня стояла пустая.

Мужчин на улицах почти не осталось: на рассвете все ушли в Афины. Город принадлежал женщинам, старикам и детям, и даже собаки лаяли вполголоса.

Торговая площадь нашлась сама: к ней сходились прямые улицы. Большая, мощёная, с трёх сторон длинные навесы на колоннах, под навесами лавки. Половина пустовала. Старуха продавала с циновки сушёные фиги. Женщина в тёмном покрывале держала корзину с хлебом, и от корзины пахло так, что у Николая свело живот. На каменном прилавке у рыбника лежала мокрая тряпка, а рыбы не было: в такой день в море, видно, не вышел никто.

На углу площади из земли торчал камень по колено, гладко отёсанный, с буквами. Буквы были как будто русские: НОРОС. Николай прочёл два раза, и понятнее не стало.

Женщина купила хлеб, и Николай решил, что ему показалось. Она полезла пальцами за щёку, вынула оттуда что-то крошечное, блестящее, как рыбья чешуйка, и положила торговке на ладонь. Через минуту то же сделал старик, покупавший фиги: сдачу он сунул за другую щёку. Кошельков здесь, похоже, не носили. Мелочь носили во рту.

*

В тени под навесом стоял стол, а за столом сидел молодой остроносый парень с бронзовым перстнем на пальце. Перед ним были весы с двумя медными чашками, чёрный плоский камень и монеты, разложенные стопками. Николай подошёл, как подходят к витрине.

Монеты были толстые, бугристые, будто их не чеканили, а лепили. Мелкие серебряные, с ноготь, и совсем крошечные, с чечевицу. Отдельно, на краю стола, лежала стопка медных, с облезшим серебром поверху; к ним меняла не прикасался. А в середине лежали большие серебряные, тяжёлые даже на вид. С одной стороны на них был женский профиль в шлеме, с огромным глазом во всю щёку. С другой стороны сидела сова.

Николай осторожно, чтобы не привлекать внимания, достал из нагрудного кармана Лизин евро и положил на ладонь совой вверх. Сова была та же. Не похожая, а та же самая: тело в профиль, а голова повёрнута, и оба глаза смотрят прямо на тебя, и та же веточка за спиной. Рядом с древней совой стояли три буквы: АΘЕ. «А», потом «тета» — её Николай помнил по школьной геометрии, ею обозначали угол, — потом «Е». Атэ. Атэнай, сказал вчера седой.

Лиза говорила: сова с древней монеты, одногруппница рассказывала. Вот с этой. Её чеканили здесь, сейчас, а потом, через сколько-то там веков, перерисовали на евро. И этот евро он вёз дочери.

Меняла заметил блеск. Поднял глаза на ладонь Николая, на его лицо, на его штаны, улыбнулся и протянул руку: покажи. Николай сжал кулак и отступил на шаг. Меняла сказал ещё что-то, тем же ласковым голосом, каким говорят с собакой, чтобы подошла.

Николай убрал кулак в карман и ушёл, не оглядываясь.

*

Есть хотелось всё сильнее. Продать было нечего. Николай перебрал карманы в уме, как перебирают инструмент перед работой. Телефон — нет. Очки — нет: без них ни трещину не

разглядишь, ни занозу не вытащишь. Зажигалку здесь лучше никому не показывать. Человека, который добывает огонь щелчком пальца, тут или озолотят, или объявят колдуном, и проверять, что выйдет, Николай не хотел. Оставались монеты: медь, сталь, латунь, с незнакомыми картинками. Первое, о чём спросят, — где взял. А на этот вопрос у него не было ответа даже по-русски.

Оставались руки.

Колодец стоял на перекрёстке: каменный сруб по пояс, края стёрты верёвками в глубокие желобки. Николай провёл по желобку пальцем — гладко, будто из-под резца. Это сколько же воды надо было вытаскать.

У колодца возилась старуха — маленькая, сухая, в сером. Она опускала в колодец кувшин на верёвке, поднимала, отдыхала и опускала снова, а её большой кувшин с двумя ручками стоял у ног и всё никак не наполнялся. Николай подошёл, показал на верёвку, потом на себя. Старуха посмотрела на его штаны, на его лицо и протянула верёвку.

Кувшин на верёвке был тяжёлый, полный, и Николай вытащил его в три перехвата. Перелил. Вытащил ещё раз, и ещё. Когда большой кувшин наполнился, старуха положила на голову свёрнутую тряпку, и Николай поднял кувшин ей на голову. Она развязала узелок на краю платка и высыпала ему в ладонь пять сушёных фиг. Что-то сказала и засмеялась беззубым ртом.

— Спасибо, — сказал Николай.

Старуха засмеялась ещё раз. Он съел фигу сразу, а остальные убрал в карман, на вечер. Потом напился из её кувшина на верёвке — вода была холодная, с привкусом камня.

С главной улицы послышались голоса. Мужчины возвращались из Афин — в пыли, хмурые, кучками, и говорили все сразу. Николай поставил кувшин на край сруба и увидел среди них худого.

Того самого, ночного, в плаще. Сейчас без факела, но не один: на шаг позади шёл парень — молодой, плечистый, бритоголовый — и нёс за худым узел, как носят портфель за начальником. Слуга или раб — поди их тут разбери. Худой тоже его увидел. Остановился. Вытянул руку и крикнул так, чтобы слышала вся улица:

— Драпетэс!

Николай услышал знакомое. «Драпать» — так у них во дворе говорили, когда кто-то бежал от милиции. Беглый, значит. Слово прозвучало совсем по-русски, и от этого стало только хуже.

Бритоголовый подошёл к колодцу, сорвал с кувшина старухину верёвку и стал складывать её петлёй. Старуха заголосила. Мужчины на улице остановились и смотрели. Никто не сделал ни шагу.

Николай прикинул. Если он ударит свободного человека на глазах у десятка таких же свободных, они бросятся все разом, и тогда конец. Если даст себя связать, худой уведёт его — продавать или держать у себя, — и никто никогда не спросит, по какому праву. Худой и не прятался: он вёл себя как хозяин, который поймал свою сбежавшую корову.

Бритоголовый накинул петлю. Николай поймал верёвку на лету, намотал её дважды на кулак и рванул на себя и в сторону. Парень такого не ждал: он пролетел мимо и ударился бедром о сруб. Худой вцепился Николаю в рукав. Ткань у ветровки была скользкая, синтетика, и пальцы худого съехали по ней, как по мокрому. Николай толкнул его ладонью в грудь — не ударил, а толкнул, как толкают тугую дверь, — и худой сел в пыль.

Верёвку Николай бросил старухе. И пошёл. Быстро, но не бегом.

— Драпетэс! — заорал сзади худой. — Драпетэс!

С порога сорвались двое мальчишек и с весёлым воплем кинулись следом. За ними, тяжело, — кто-то из мужчин. Тогда Николай побежал.

Направо, два квартала прямо, налево. Утренние повороты сами вставали в голове. Он бежал по клеткам этого города, как когда-то бегал по кварталам Автозаводского: в одинаковых

дворах кто знает повороты, тот и уходит. Мальчишки отстали на втором углу. Голос худого ещё долго метался между стенами, потом пропал.

Корабельные сараи стояли пустыми. Николай забрался в самый дальний, в глубину, под крышу, где на подпорках лежали сложенные вёсла, а за ними — бухты канатов в человеческий рост. Он лёг за канатами на камень и замер.

Вдоль берега пробежали. Голоса, топот, снова голоса. Кто-то заглянул под соседний навес и крикнул. Ему ответили издалека. Потом стало тихо.

*

Сердце колотилось ещё долго. Николай лежал за канатами, пахнущими смолой, и думал о скользком рукаве. Не будь ветровки, худой бы его удержал, а бритоголовый как раз успел бы подняться.

Здесь, понял он, ничейный человек — это тот, кого заберёт первый, кто успеет. Как машина без документов: стоит во дворе, пока её не увезут на штрафстоянку, и никто не заступится, потому что непонятно, чья она. Вчера за него заступился седой. Сегодня седого не было, и десяток мужиков стояли и смотрели.

Значит, нужны свои. Те, кто скажет: это наш. Седой взял его ладонь и сказал «технитэс». Выходит, и свои у него здесь — те, кто понимает в мозолях.

*

Когда солнце пошло к Саламину, Николай выбрался из сарая и поднялся на холм — по склону, задворками, не выходя на улицы.

Место он нашёл сразу. Колючий куст там, где вчера была дверь церкви. Трещина в камне с сухой травой. Он встал так же, как стоял вчера, лицом к морю, и вынул телефон. Двадцать шесть процентов. Николай выключил режим полёта.

«Поиск сети…» Потом: «Нет сети».

Он открыл переписку с Лизой. Наверху висело вчерашнее: «Видеозвонок завершён». Николай набрал одним пальцем, медленно и, как всегда, без запятых:

«Лиза я живой. Не волнуйся. Папа»

Нажал «отправить». Рядом с сообщением появились часики.

Солнце коснулось острова. Николай стоял и смотрел, как оно уходит — так же, как вчера, тем же краем, за тот же горб. Ушло. Небо над островом потускнело. Внизу в гаванях зажглись огоньки, а у входа в круглую гавань загорелись два костра — вчера их там не было.

Ничего не произошло.

Он постоял ещё, пока не проступили звёзды. Потом включил режим полёта. Двадцать один процент. Сообщение так и висело с часиками.

*

Ночевал он в том же сарае, за канатами. Седой так и не вернулся. Из темноты у входа в гавань перекликались часовые, и когда голоса стихали, становилось слышно, как в бухтах канатов шуршат мыши.

Фиги Николай съел по одной, медленно, растягивая. Потом лежал, сунув руки под мышки, и думал о завтрашнем. Свои. Мозоли. Где-то в этом городе должны работать люди, у которых руки как у него.

Разбудил его стук.

Сначала Николаю показалось, что это ему снится — гараж, утро, сосед по боксу выправляет крыло. Потом он открыл глаза и увидел над собой черепицу.

Стучали далеко, за крышами. Не один молоток, а много, вразнобой: тяжёлые, глухие, и среди них частые, лёгкие, звонкие. Так звенит только тонкий лист. Этот звук Николай узнал бы во сне — да он и узнал его во сне.

Он встал, отряхнул джинсы и пошёл на звук.

Глава 4. Молотки

За ночь город переменился. Вчера он молчал, сегодня работал — угрюмо, без разговоров, будто вчерашние слёзы велели переплавить в дело.

У входа в круглую гавань, где ночевал Николай, стояла цепь людей от берега до самой воды. Из рук в руки шли корзины с камнями и землёй, и последний в цепи опрокидывал свою в воду, туда, где гавань сужалась в горло. Горло заваливали. Распоряжался кто-то седой, с палкой, — может, тот самый старик, а может, другой: издалека не разобрать. По главной улице волокли на катках тёсаные блоки, и волы под ярмом мотали головами от натуги. Город готовился к чему-то, и Николай даже догадывался к чему. Так перед половодьем в деревне подсыпают дамбу.

Стук вёл его к большой гавани. Чем ближе, тем яснее он различал голоса молотков: тяжёлые, ухающие, будто кто-то бил кувалдой по наковальне, и лёгкие, частые, звонкие, по тонкому. Над крышами поднимался дым, и в одном месте он был с зеленцой. Так горит медь. Николай пошёл на этот дым.

Мастерская занимала целый квартал: глухая стена, широкие ворота, а за воротами двор под навесами. На пороге сидел старик-привратник с палкой поперёк колен. Он посмотрел на Николая, задержал взгляд на джинсах и поднял палку: проходи мимо. Николай отошёл на шаг и встал сбоку от ворот так, чтобы видеть двор. Дальше старик гнать его не стал.

Таких мастерских Николай не видел никогда. Человек сто, если не больше, и всё руками: ни станка, ни пресса, ни сварки. И у каждого своё дело.

У левой стены стоял горн — глиняная печь в рост человека, полная углей. Мальчишка качал при ней мехи: два кожаных мешка, которые он по очереди сжимал и разжимал, так что угли то вспыхивали, то тускнели. Под ближним навесом столяры клеили из досок круглые чаши и выбирали их тёслами изнутри. Пахло свежим деревом и варёным клеем, совсем как в столярке у них в училище. Дальше в ряд стояли пни, в каждый пень была вбита железная болванка с круглой головкой, и за каждым пнём сидел человек с молотком. Перед ним на болванке лежал бронзовый круг — толстый, литой, с тарелку, — и под молотком он медленно выгибался в чашу и становился всё тоньше. Под соседним навесом резали кожу на ремни. У дальней стены полировали: тёрли бронзу песком и пемзой, и готовые щиты, прислонённые к стене, горели на солнце, как золото.

В музее на Агоре щит был серо-зелёный. Новая бронза оказалась золотой.

У самых ворот лежала ещё одна куча щитов — старых, битых: с вмятинами, с отодранной облицовкой, с оборванными ремнями. Николай посмотрел на них, как смотрел у себя в боксе на машины, которые пригоняли после зимы.

Люди во дворе были разные. Чернобородые, рыжие, бритые, с серьгой в ухе. Переговаривались они не только по-здешнему. Кто из них раб, а кто нет, Николай разобрать не мог. Зато главного было видно сразу: коренастый, лысый, в кожаном фартуке, с ремнём за поясом и голосом, от которого вздрагивали даже мехи.

*

Ближе всех к воротам работал молодой парень с бритой головой. Чаша у него на болванке была уже глубокая, и он бил по ней часто, с плеча, торопясь. Николай слушал. Бронза поначалу отвечала глухо и мягко, а потом зазвенела — тонко, стеклянно. Это был наклёп: металл от молотка затвердел и стал ломким, и его давно пора было в огонь, а то треснет. Горн и корыто с водой стояли в десяти шагах: отжигать здесь, конечно, умели. Просто парень торопился.

По краю чаши побежали мелкие трещинки, как кружево. Николай не выдержал:

— Стой! В огонь его, в огонь!

Парень оглянулся, увидел у ворот варвара в штанах, ухмыльнулся и ударил ещё раз. Чаша щёлкнула, как лопнувший стакан. От края к середине побежала трещина.

Лысый оказался рядом раньше, чем стих звон. Он поднял чашу, посмотрел трещину на свет, и ремень из-за пояса будто сам прыгнул ему в руку. Удар был один, но парень сел на землю. Лысый что-то рявкнул, парень, держась за плечо, понёс чашу к куче лома у стены. Привратник сказал что-то лысому и показал палкой на Николая.

Лысый подошёл к воротам. Посмотрел на штаны, на руки, в лицо. Потом махнул: иди за мной.

*

В дальнем углу двора двое правили битый щит. Обод у него был сделан отдельно — бронзовая полоса, загнутая жёлобом и надетая на край деревянной чаши. В одном месте обод вмяло ударом внутрь, на ладонь в длину. Эти двое положили щит на наковальню и били по вмятине сверху. Металл между молотком и наковальней плющился и тянулся. Вмятина от этого становилась мельче, но длиннее, и по краям её уже повело волной. Судя по их потным спинам, возились они давно.

Лысый что-то сказал, и оба отошли. Николай присел над щитом. Провёл пальцами по вмятине, нашёл самую глубокую точку. Показал на молоток: дай. Лысый, помедлив, подал. Николай скинул ветровку и повесил её на столб навеса.

Молоток был лёгкий, со слегка выпуклым бойком, — то, что нужно. Николай оглядел инструмент на скамье и выбрал тяжёлую железку с округлым боком: такими, видно, правили мелочь. Поддержка. Он снял щит с наковальни, положил себе на колени ободом к себе и подвёл железку изнутри под самое дно вмятины.

И стал бить не по поддержке, а рядом с ней — по тем местам, где металл вокруг вмятины вспучился. Если бить прямо по поддержке, металл между ней и молотком плющится и тянется, — это и сделали двое до него. А если бить рядом, молоток вдавливает высокое, поддержка от отдачи выталкивает низкое, и металл встаёт на место, не вытягиваясь. Николай шёл от краёв вмятины к середине, мелко и часто, и под молотком обод на глазах выравнивался. Волну по краям он под конец прошёл лёгкими ударами прямо по поддержке, чтобы сгладить.

Вокруг стало тихо. Рядом перестали стучать, потом дальше. Николай этого не заметил. Он отложил молоток и провёл по ободу ладонью — плашмя, закрыв глаза, как проверяют крыло после рихтовки: глаз обманет, рука нет. Под ладонью шло ровно.

Лысый взял щит. Повертел на свету, поймал блик, проследил, как тот бежит по ободу, не спотыкаясь. Потом тоже закрыл глаза и провёл по ободу ладонью — плашмя, точно так же.

Открыл глаза и захохотал. Хлопнул Николая по плечу так, что тот качнулся, и заорал куда-то в глубину двора. Через минуту мальчишка принёс миску чечевичной похлёбки, ячменную лепёшку, луковицу и кусок солёной рыбы. И кружку вина, разбавленного водой так, что от вина в ней остался один цвет.

Николай сел на пень и ел, а весь двор на него смотрел. Кто-то сказал что-то, кивая на его штаны, и рядом засмеялись. Николай жевал и не обижался: пусть смеются над штанами, зато обод теперь ровный.

— Онесим! — позвали от горна.

Лысый обернулся. Онисим, отметил про себя Николай. Такое имя и у нас есть: в деревне у соседей был дед Онисим, пасечник.

*

В воротах показался человек, и молотки во дворе застучали заметно чаще.

Высокий, сухой, лет сорока пяти, с аккуратно подстриженной бородой, в которой пробивалась седина. Белый плащ перекинут через плечо, на пальце перстень. За ним шёл мальчик с дощечками под мышкой. Это был хозяин, никаких сомнений. Так в гараж входит владелец сервиса: ни на кого не глядит, а видит всех.

Онесим пошёл навстречу. Говорил он долго и показывал то на кучу лома, где лежала треснувшая чаша, то на щит с выправленным ободом, то на Николая. Хозяин провёл пальцем по ободу, и глаза у него чуть сузились. Потом он подошёл к Николаю.

Посмотрел на джинсы. Двумя пальцами взял рукав ветровки, висевшей на столбе, и потёр ткань — так щупают материю на рынке. Брови у него поползли вверх. Он отпустил рукав и спросил:

— Скютэс?

Николай не знал этого слова. А потом сообразил. Седой в первую ночь говорил «Атэнай», и это были Афины. Выходит, где у них «т», там у нас «ф». Скютэс — скиф.

Про скифов Николай помнил немного: учебник за пятый класс, картинка — всадники в штанах и острых шапках и подпись, что жили скифы в степях у Чёрного моря. Штаны здесь, похоже, считались скифскими. Врать Николай не любил. Но с Волги до тех степей было куда ближе, чем отсюда, и это было не совсем враньё. Скиф лучше, чем драпетэс.

Он кивнул:

— Скиф.

Хозяин тоже кивнул, будто подтвердилось то, что он и так подозревал. Потом показал на парня, который нёс мимо охапку ремней:

— Дулос.

На Онесима:

— Дулос.

На привратника у ворот:

— Дулос.

Потом коснулся своей груди:

— Элеутерос.

Николай решил было, что хозяин называет своё имя. Но тот кивнул на ворота, где ждал своей очереди бородач в добротном плаще, с битым щитом на плече, и повторил:

— Элеутерос.

Значит, не имя. Два слова на всех, и люди делятся по ним на две кучки: в одной лысый, привратник и парень с охапкой, в другой хозяин и бородач. Что это за кучки, догадаться было нетрудно: в одной те, кому велят, в другой те, кто велит. И вчерашнее «драпетэс» встало на место: беглым бывает только тот, кому есть от кого бежать.

Хозяин поднял брови и показал на Николая: а ты?

Николай хлопнул себя ладонью по груди:

— Элеутерос.

Двое у горна прыснули: варвар в штанах — и туда же. Хозяин не засмеялся. Он смотрел на Николая долго, будто прикидывал, сколько тот весит, потом сказал что-то Онесиму и ушёл со двора. Мальчик с дощечками побежал за ним.

Онесим подвёл Николая к куче битых щитов у ворот, сунул ему в руку молоток и показал на кучу: давай.

*

До вечера Николай правил щиты. Их несли и несли — из города, из соседних домов, на плечах и на тележках. Старые, с вмятинами от копий и камней, с оторванными ремнями, с облицовкой, отставшей от дерева. Видно, войну ждали у самых стен, и каждый, у кого в доме висел щит, вспомнил, что его пора чинить.

Через час Николай перестал слышать чужую речь вокруг. Через два у него появился свой угол, своя скамья и мальчишка, который подносил воду. Ближе к вечеру двое из соседних работников стали подходить и смотреть, куда он подставляет железку и где бьёт. Николай показывал им молча, руками. Слов для этого и в гараже было не нужно.

Солнце пошло к морю. Николай распрямил спину, посмотрел поверх крыш и увидел холм. Вершина ещё горела розовым, а склоны уже ушли в тень. Если выйти прямо сейчас, к закату он успеет на то самое место.

Он положил молоток.

В воротах стоял хозяин — уже без мальчика, один. Он увидел, что Николай смотрит на него, и поманил рукой: пойдём.

Николай посмотрел на холм, потом снова на ворота. Подумал о скользком рукаве, о верёвке в руках бритоголового, о десятке мужиков, которые стояли у колодца и смотрели. Вчера на холме ничего не случилось. А если и может случиться, холм никуда не денется, и закат завтра будет тот же.

А человек в воротах звал его один раз.

Николай снял со столба ветровку и пошёл к воротам.

Глава 5. Кефаль

Идти оказалось недалеко: через улицу и за угол. Глухая стена, как у всех, дверь с бронзовым кольцом, у двери раскрашенный столб с бородатой головой — поновее и почище тех, что Николай видел в первое утро. Хозяин, проходя мимо, тронул бороду столба кончиками пальцев, не глядя, — так иная бабка у нас крестится на ходу, когда идёт мимо церкви.

За дверью был двор, вымощенный речной галькой, а вокруг двора галерея на деревянных столбах. С галереи вверх вела лестница, и наверху кто-то быстро задёрнул занавеску. Посреди двора стоял каменный жертвенник, почерневший сверху от огня. Пахло дымом, жареной рыбой и чем-то сладким, вроде ладана.

Под галереей, в углу, стояло кресло с высокой спинкой и резными ножками в виде звериных лап. На кресле лежала подушка, примятая так, как приминается подушка, на которой годами сидит один и тот же человек. Сейчас в кресле не сидел никто.

Из дальних дверей вышел ещё один — пониже хозяина, плотнее, помоложе, с чёрной бородкой. Лицом они были похожи, как бывают похожи братья: один нос, одни брови. Только хозяин был как запертая дверь, а этот — нараспашку. Он увидел Николая, остановился и заговорил сразу быстро, весело, перебивая сам себя. Хозяин ответил коротко. Младший обошёл Николая кругом, как обходят машину на авторынке.

Больше всего его заняла ветровка. Он потрогал ткань — точь-в-точь как днём в мастерской брат, — потом нашёл молнию и потянул за бегунок. Ветровка раскрылась. Младший потянул вверх — закрылась. Вниз — вверх. Глаза у него стали как у мальчишки, которому дали подержать настоящую рацию.

Николай не мешал. Молнию на пальцах не объяснишь, да и ни к чему. Когда младший в третий раз взялся за бегунок, Николай мягко отвёл его руку, снял ветровку, свернул и сунул под мышку. Младший засмеялся и не обиделся. Ткнул себя пальцем в грудь:

— Лисиас.

Потом показал на брата:

— Полемархос.

И на Николая — вопросительно.

— Николай.

Братья переглянулись.

— Николаос? — переспросил младший, хлопнул себя по колену и сказал брату что-то, от чего даже старший улыбнулся. Имя им, видно, показалось смешным. Или, наоборот, слишком своим.

Николай прикинул: раз Николаос — это Николай, то младший будет Лисий, а старший — Полемарх. Так было проще.

*

Ужинали во дворе, под галереей. Братья легли на два деревянных ложа, застеленных шерстяными покрывалами, и ели, опираясь на локоть. Николаю принесли табурет: лежать за едой, как они, он бы не сумел, а если бы и сумел, то подавился бы. Перед каждым поставили низкий столик. Хлеб был белый, пшеничный, не та серая лепёшка, которой делился седой. Маслины. Сыр. Варёные бобы с луком. И на глиняном блюде запечённая рыба — с серебристыми боками и тупой широкой головой.

Рыбу Николай узнал. В Сочи на рынке такую продавали копчёной, связками, и называлась она кефаль.

Лисий взял рыбу за хвост, показал Николаю и сказал:

— Кефалос.

Потом той же рукой, с рыбой, показал на пустое кресло в углу:

— Кефалос.

Опустил ладонь к полу — медленно, как опускают в землю. Показал на себя и на брата:

— Патэр.

«Патэр» Николай понял сразу: в кино так звали католических священников — святой отец. Отца звали Кефалос. Кефаль. И отца больше не было, а его кресло осталось.

Николай не знал, что делать с лицом: смешно, а смеяться нельзя. Полемарх что-то резко сказал брату, но Лисий только расхохотался громче, и глаза у него при этом были мокрые. Видно, шутку эту в семье знали давно, и придумал её, может, сам отец.

После ужина Лисий принёс дощечки: две деревянные створки на ремешке, а внутри тёмный воск. Взял палочку с острым концом и стал рисовать. Человечек в штанах — штаны он обозначил двумя палками и, подумав, расчертил их зигзагами. На джинсах у Николая никаких зигзагов не было, но спорить он не стал. Рядом появился второй человечек, с верёвкой. Верёвка тянулась к шее первого.

Лисий ткнул палочкой в человечка в штанах, потом в Николая. Потом нарисовал третьего, побольше, с бородой, поставил его между первыми двумя и развёл ему руки в стороны: заслонил.

— Простатэс, — сказал Лисий и постучал палочкой по третьему человечку.

Николай прикусил губу. Слово было знакомое, только не отсюда, а из кабинета уролога, куда Лиза прошлой весной загнала его чуть не силой: «Пап, после сорока положено». Лисий заметил, что гость прячет усмешку, заулыбался в ответ и, кажется, решил, что варвар обрадовался.

Смысл, впрочем, был ясен и без слова. Тот, кто заслонит. Поручитель, как в банке по кредиту: если что — спрос с него.

Тогда Николай забрал у Лисия палочку. Нарисовал колодец — круг и столбик. Себя в штанах. Худого — длинного, в плаще. Бритоголового с петлёй. Стрелку — как бритоголовый отлетает к колодцу. И себя ещё раз, уже далеко, бегущего.

Лисий захлопал в ладоши. Полемарх взял дощечки, долго смотрел, потом поднял глаза и спросил что-то — одно слово, короткое. Слова Николай не знал, но по лицу понял вопрос: кто? Он нарисовал худого ещё раз, крупно: длинный нос, впалые щёки, плащ, заколотый на плече. Полемарх кивнул и сказал:

— Аурион.

И показал ладонью, как встаёт над крышами солнце.

Завтра.

*

Спать Николая положили в кладовой у ворот. Вдоль стены стояли кувшины ему по грудь, пахло маслом и зерном. На полу лежал тюфяк, набитый соломой, и шерстяное одеяло. Дверь закрывалась изнутри на деревянную задвижку.

Николай задвинул её и сел на тюфяк. Впервые с той ночи между ним и улицей была дверь, и задвижка на ней — с его стороны.

Он достал телефон и тронул кнопку. Восемнадцать процентов: за сутки в режиме полёта ушло три. Так он сядет через неделю, а сообщение Лизе так и будет висеть с часиками. Николай зажал кнопку и выключил телефон совсем. Включать теперь — только на холме.

Потом достал сову, подержал на ладони и убрал обратно. Уснул сразу, будто выключили.

*

Утром, когда на гальке во дворе ещё не высохла роса, пришёл гость.

Это был старик — широкогрудый, плотный, с белой бородой веником и маленькими весёлыми глазами в морщинах. Плащ на нём был простой, а держался он так, будто и двор, и жертвенник, и сам Полемарх принадлежат ему. Он остановился посреди двора, оглядел Николая с ног до головы и сказал:

— Хайрэ!

Николай вздрогнул. С крыши сорвался голубь. Слово не прозвучало, а ударило в стены и вернулось эхом. Таким голосом на Пасху в соборе читает дьякон: мать каждый год смотрела службу по телевизору, и Николай с детства помнил, как от этого голоса дребезжит динамик.

— Клеокритос, — сказал Полемарх, показав на старика.

Клеокрит, значит. Полемарх долго говорил ему что-то, показывая то на Николая, то на ворота. Старик слушал не перебивая и смотрел Николаю не на штаны и не на руки, а прямо в глаза — долго, будто играл в гляделки. Николай глаз не отвёл. Тогда старик протянул ему правую руку. Николай пожал её, и старик стиснул ему пальцы изо всей силы. Николай стиснул в ответ: у кузовщика руки тоже не из ваты.

— Николаос, — сказал старик своим дьяконским басом, пробуя имя на звук, и, похоже, остался доволен.

На рынок пошли вчетвером. Николай шёл между братьями, а старик впереди, и люди уступали ему дорогу.

Торговая площадь была та же, где позавчера Николай смотрел на сов у менялы, только сегодня она гудела. Посреди площади старик увидел кого-то у дальнего портика, поднял руку и окликнул. Одно слово, имя, наверно. Но площадь замолчала. Замолчали торговки, перестал стучать молоток у сапожника, обернулся меняла за своим столом. Тот, кого окликнули, помахал в ответ, площадь засмеялась и загудела снова.

У колодца на перекрёстке стоял худой. Он заметил Николая между братьями, потом старика впереди, и лицо у него переменилось. Худой отвернулся и пошёл прочь, будто его здесь и не было.

Под крайним портиком за столом сидел пожилой человек с дощечками и печатью на шнурке. Староста, решил Николай. У них в кооперативе так же сидел председатель — с журналом, и без его подписи ни бокс не продать, ни свет не провести. Клеокрит заговорил со старостой, Полемарх добавил. Староста спрашивал, они отвечали, староста писал. Потом прочёл написанное вслух — с расстановкой, как председатель на собрании зачитывал должников за свет:

— Николаос… Скютэс… ойкон эн Пейрайеи… простатэс Клеокритос…

Николай разобрал своё имя, «скифа», Пирей и поручителя. Остальное, видно, тоже было про него.

Полемарх выложил на стол три большие серебряные монеты. Три совы. Староста подвинул их к соседу, а тот ссыпал в ящик. Николай смотрел, как они исчезают, и через карман тронул свою, Лизину.

На обратном пути Лисий показал ему мелкую монету, с ноготь, тоже с совой, и сказал:

— Драхмэ.

Драхма. Это слово Николай знал: до евро у греков были драхмы, гид рассказывала. Лисий показал одну большую сову и четыре пальца: в ней четыре драхмы. Три совы — двенадцать. Потом провёл рукой по небу дугу, от моря до гор, — день — и показал десять пальцев и ещё два. И ткнул Николая в мозолистую ладонь.

Двенадцать дней работы. Николай кивнул.

Обратно он шёл, повторяя про себя то, что разобрал у старосты: «Николаос… скиф… Пирей… поручитель Клеокрит». Не гражданин, не хозяин, не родня никому. Строчка на чужой дощечке. Но если кто-нибудь теперь накинет на него петлю, у колодца найдётся кому сказать: это наш.

Три совы. Двенадцать дней. Терпимо.

Глава 6. Слова-кочки

У бабки в деревне за огородами начиналось болото. Через него ходили по кочкам: наступишь на кочку — держит, промахнёшься — и ты по пояс в жиже. Бабка учила: где трава погуще, там и кочка.

Чужой язык оказался таким же болотом. Первые дни Николай тонул в нём с головой: вокруг говорили быстро, все разом, и ни одно слово не держалось в памяти дольше минуты. А потом он нащупал кочки. Ими оказались русские слова, которые когда-то пришли отсюда и прижились у нас так давно, что никто уже не помнил, откуда они.

Первую кочку подсунул Лисий. По вечерам он звал Николая во двор, к жертвеннику: похоже, варвар был для него загадкой, за которую, кроме него, в доме никто не брался. Полемарх бывал не каждый вечер: жил он больше в городе, в Афинах, где у него был ещё один дом, — это Николай узнал не сразу. А когда бывал, сидел в стороне, слушал и молчал.

— Демократия? — спросил однажды Николай, показав рукой куда-то за стену, на город. Он и сам не знал, о чём спрашивает. Просто это греческое слово он знал точно.

Лисий подскочил на ложе.

— Демократиа!

И заговорил — быстро, горячо, размахивая руками, то тыча пальцем в сторону Афин, то хлопая себя по груди. Николай не разобрал ни слова, кроме одного, которое Лисий повторил трижды и всякий раз сплёвывал на гальку:

— Тюраннос.

Тиран. И это слово было наше. Кочка держала.

Потом Лисий нарисовал на воске полукруг, а в нём ряды, как ступени, и показал за ворота, на холм. Николай вспомнил: на склоне Кастеллы, неподалёку от церкви, был открытый театр, Лиза ещё фотографию просила. Выходит, театр стоял на этом склоне уже сейчас.

— Театрон, — сказал Лисий и приложил к лицу ладонь, будто маску.

— Театр, — сказал Николай.

Лисий обрадовался так, будто варвар прочёл наизусть стихи.

С гимнастикой вышло смешнее. Лисий сказал «гюмнасион» и, увидев, что Николай кивает, решил объяснить подробнее: показал, как бегут, как борются, а потом стал изображать, будто стаскивает с себя рубаху, и повторял: «Гюмнос, гюмнос». Николай сначала не сообразил, потом до него дошло, и он захохотал. Гимнастика, выходит, — это голышом. Лисий смеялся вместе с ним, и даже Полемарх в своём углу усмехнулся.

*

В мастерской кочки были другие.

Николай показал однажды Онесиму на бронзовый лист и сказал:

— Металл.

— Халкос, — поправил Онесим.

— Металл, — повторил Николай упрямо и постучал по листу.

Онесим нахмурился:

— Металлон?

И показал руками что-то непонятное: согнулся, будто лезет в узкую нору, долбит над головой, кашляет. Потом выпрямился, повернулся к мальчишке у мехов и сказал ему коротко, без крика:

— Металлон.

Мальчишка побелел и задышал мехами вдвое чаще. Николай смотрел на него: кочка провалилась. «Металлон» здесь значил не металл, а то место, откуда его достают: нору, где долбят и кашляют. И для мальчишки при мехах это было самое страшное слово на свете.

С водой было проще. У корыта, где остужали металл, Николай сказал «гидро», и Онесим, подумав, отозвался: «Хюдор». У горна Николай сказал «пиротехника», и из всего слова Онесим выбрал «пюр» и кивнул на угли. Огонь. Николай повторил: «Пюр», и Онесим опять кивнул, как кивают ученику, который наконец-то взял молоток правильно.

Счёт Николай выучил за три дня: без него ни плату не получишь, ни щиты не пересчитаешь. «Дюо» — это как дуэт, «трия» — как трио, «дэка» — как декада. Дальше пришлось зубрить, как в школе таблицу умножения, только вслух и на пальцах.

А вечером, когда Николай пошёл спать, Лисий показал ему вслед на дверь кладовой:

— Апотэкэ.

— Аптека? — переспросил Николай.

Лисий не понял, при чём тут это, а Николай, закрывшись у себя, ещё долго посмеивался. Аптека. У нас там лекарства, а здесь кувшины с маслом и зерном, и среди них его тюфяк. Выходит, жил он теперь в аптеке.

Не все кочки держали. Некоторые проваливались, как «металл», некоторые раскисали под ногой, и Николай подолгу месил грязь между ними. Но с каждым днём кочек становилось больше, и от одной до другой было уже не так далеко.

*

Через десять дней Онесим велел ему назавтра сходить в торговую гавань — за кожей для ремней. Одного не отпустил: дал в провожатые Гетаса, рыжего парня из мастерской, который знал, у кого и почём.

— Гетас. Тхракс, — так он назвался Николаю ещё в первый день.

Тхракс. Николай по привычке поменял «т» на «ф» и получил «Фракс». Фракиец. Спартак тоже был фракиец — это Николай помнил по фильму.

Греческий был для Гетаса тоже чужим: говорил он медленно и короткими словами, и поэтому Николай разбирал его легче, чем кого-либо в мастерской.

Утром, провожая его за ворота, Лисий сунул Николаю в ладонь два обола — то ли на еду, то ли за то, что Николай разрешил ему ещё раз подёргать молнию. Обол оказался такой же крошечной серебряной монеткой, какие он видел у менялы; шесть таких, показал на пальцах Лисий, — одна драхма. В кармане джинсов такая мелочь забивалась в самый угол, не выудишь, и Николай, переломив брезгливость, сунул обе монетки за щеку, как все. Серебро было холодное и отдавало железом.

— Эмпорион, — сказал Гетас, когда они вышли к воде.

Николай вспомнил стеклянную витрину в Афинах, мимо которой его водила экскурсовод: «Эмпорио Армани», джинсы там стоили как его месячная выручка. Вот оно, значит, откуда. Эмпорион — торговля.

Торговая гавань оказалась огромной, и шум в ней стоял такой, что Гетас говорил Николаю прямо в ухо. Вдоль берега тянулись длинные крытые галереи на колоннах, и под ними сидели купцы с образцами: в корзинах — шерсть, в мисках — бобы, на рогожах — связки сушёной рыбы, медные слитки, железные полосы. У одной галереи толпа стояла гуще, чем у других: там торговали зерном. Покупатели брали его щепотью, раскусывали, сплёвывали и спорили, и по лицам было видно, что цены кусаются. У причалов разгружали корабли — пузатые, широкие, совсем не похожие на тот узкий, хищный, с тараном. С одного носили брёвна, с другого — кожи, сырые, вонючие, сложенные стопками.

У самого края гавани, на низком каменном помосте, стояли люди. Трое молодых мужчин и девушка, босые, в одних набедренных повязках. Перед ними расхаживал толстый человек в хорошем плаще и что-то выкрикивал, а покупатели подходили и щупали им руки. Один оттянул парню губу и посмотрел зубы.

Николай отвернулся. Гетас не отвернулся. Он смотрел долго, потом кивнул на помост:

— Гетас. Экэй.

«Экэй» Николай не знал, но догадался. Там. Гетаса когда-то продали там. Николай ничего не сказал, а Гетас, видно, ничего и не ждал: повернулся и пошёл к кожевникам торговаться.

*

Кожу купили. На обратном пути, когда солнце уже клонилось к Саламину, Гетас подмигнул, показал на низкую дверь в стене у самого спуска к воде, поднёс ко рту сложенную ковшиком ладонь и запрокинул голову. Этот жест в переводе не нуждался.

Внутри было темно, потолок низкий, пахло кислым. Вдоль стен стояли амфоры и скамьи, а посреди, на полу, — большой глиняный чан, и из него торчали тростинки. Вокруг на корточках сидели моряки — рыжие, бородатые, говорившие не по-гречески, — и тянули через тростинки что-то мутное.

Николай остановился в дверях. Коктейль через трубочку, как в пляжном кафе. Только чан на всех.

К ним вышла хозяйка — рыжая, как Гетас, в платке, повязанном по-деревенски, с веснушками на носу и серыми глазами. На руках у неё от запястий до локтей шли синие узоры: точки, ёлочки, полоски, а на левой — олень с ветвистыми рогами. Она глянула на Гетаса, сказала ему что-то не по-гречески, он ответил так же. Потом она увидела джинсы.

— Скютэс! — обрадовалась она и заговорила с Николаем на том же языке, что с Гетасом, быстро и с надеждой.

— Не понимаю, — сказал Николай по-русски.

Она попробовала ещё раз, медленнее. Николай развёл руками. Хозяйка покачала головой и сказала уже по-гречески что-то, отчего Гетас и моряки заржали. Смысл Николай уловил и без перевода: ну и какой из тебя скиф.

— Фратта, — назвалась она.

— Николаос, — ответил он.

— Никола, — повторила она по-своему и протянула ему тростинку.

Николай присел у чана, как все, и потянул через тростинку. Питьё было кислое, густое, мутное, с шелухой, которая лезла в зубы, и чуть хмельное. Николай потянул ещё раз и узнал вкус.

— Квас, — сказал он.

— Квас? — переспросила Фратта, как переспрашивают смешное слово.

— Квас. Только хмельной и с шелухой.

Он сам не знал, что тут смешного, но Фратта рассмеялась первой, а за ней засмеялись и он, и Гетас, и моряки у чана. Смеялась она не над ним, не над штанами, не над тем, как он мычит, подбирая слова, — а над словом «квас», над шелухой в зубах, над собой и над всем на свете сразу. И впервые за все эти дни Николаю не надо было никому ничего доказывать.

Платить Николай полез было в карман, вспомнил и выплюнул обол на ладонь. Фратта посмотрела на монетку, на него и захохотала так, что пришлось сесть на скамью.

— Скютэс! — сказала она, утирая глаза, и добавила что-то ещё, кажется: ну, этот у нас приживётся.

*

Домой шли в сумерках. Гетас насвистывал. В воздухе пахло дымом и морем, в домах зажигали светильники, и над крышами впереди темнел холм.

Николай посмотрел на него и спохватился: он уже несколько дней туда не поднимался. Сначала ходил туда каждый вечер к закату: вставал на то место, включал телефон, снимал режим полёта и ждал. Потом через вечер. А потом перестал и даже не заметил, когда. Телефон после каждого раза терял примерно по проценту, и теперь в нём оставалось двенадцать.

От этой мысли стало нехорошо: выходило, что он кого-то предал. Лизу. Сообщение с часиками.

Холм стоял на месте. Николай отвёл от него глаза и пошёл дальше. Домой — так он, оказывается, уже называл про себя кладовую у ворот в чужом доме.

Глава 7. Облицовка

Через две недели у Николая было в мастерской своё место: третий пень от горна, под навесом, где тень держалась дольше всего. Битые щиты ему больше не носили. Онесим перевёл его на облицовку.

Облицовкой Николай про себя называл то, ради чего здесь стучали с утра до темноты: бронзовую чашу во весь щит, которую потом надевали на деревянную основу. Основу делали столяры у ворот — склеивали из тополиных досок и выбирали тёслами изнутри, и весь двор пах стружкой. Бронзу выколачивали у пней. Обод гнули отдельно. Кожевники кроили подкладку и ремни, полировщики тёрли готовое песком. Изнутри к щиту приклёпывали широкую бронзовую скобу, в которую продевали руку до локтя, а у края натягивали ремень, чтобы держаться кистью. Скобу Онесим назвал «порпакс», ремень — «антилабэ», показал каждое по разу и больше не повторял: запоминай.

Каждый делал своё и в чужое не лез. На ВАЗе, когда Николай варил кузова, было так же: один варит свои точки, другой свои, и кузов едет по линии дальше. Здесь вместо линии был двор, а вместо конвейера щит носили на руках.

Литой круг с тарелку надо было растянуть почти на метр поперёк, до полмиллиметра в толщину, и нигде не порвать. Мастера у соседних пней отжигали по счёту: столько-то кругов ударов — и в огонь. Николай отжигал по слуху. Когда бронза уставала, звон под молотком делался выше и суше, и тогда он нёс её в горн, ни раньше, ни позже. А в горне смотрел на цвет. Как только металл наливался тёмной вишней, вынимал: дальше бронза только зря горела и обрастала окалиной. Чаша у него выходила на полдня быстрее, чем у соседей. Онесим сначала ворчал, потом стал приглядываться, а потом посадил рядом с Николаем двух парней — пусть смотрят.

Кожу для подкладки возили из города на осле. Погонщик всякий раз называл хозяина кожевни — Анютос — и, называя, поднимал палец: человек, мол, большой. Анит, перевёл про себя Николай.

*

Двенадцать дней он отработал за три совы. На тринадцатый вечер Онесим отсчитал ему драхму — первую собственную.

Николай поднёс монету к глазам. Профиль в шлеме, на обороте сова — всё как положено. Только на ребре, где серебро стёрлось о чужие пальцы, проглядывало розовое. Он надел очки. Под серебром была медь: тонкая серебряная корка на медном кружке. Как свежая краска на битом крыле — блестит, а под ней шпаклёвка.

Онесим заметил, куда он смотрит, достал из-за щеки свою монету и повернул ребром. Такая же. Пожал плечами: что поделаешь, все такие. Фратта в тот же вечер взяла эту драхму, не взглянув на ребро, и отсчитала пять оболов сдачи.

*

Через три дня приехал Ктесикл. Сначала в ворота вкатилась повозка с корзинами, за ней вошли двое носильщиков, а потом он сам.

Ему было лет пятьдесят. Плотный, гладкий, бородка клинышком блестит от масла, светлый плащ с тёмной каймой, на руке два перстня. Заговорил он ещё в воротах — громко, весело, со всеми сразу. Привратнику сунул в ладонь что-то мелкое, мальчишке у мехов кинул сушёную фигу, Онесима хлопнул по плечу. Голос у него был мягкий и густой, как у продавца в автосалоне. Двор заулыбался: Ктесикла здесь, похоже, любили.

— Ктэсиклэс, — сказал Онесим Николаю, кивнув на гостя.

Ктесикл, переложил Николай по своему правилу. Гость тем временем оглядел его джинсы, весело сказал «Скютэс» и добавил что-то, отчего хмыкнул весь навес.

Корзины по одной вешали на крюк большого коромысла, а на другую чашу ставили бронзовые гири. Онесим вынимал из каждой корзины верхний круг, стучал по нему костяшкой пальца, слушал и кивал. Писарь Ктесикла и мальчик Полемарха царапали вес на своих дощечках. Денег Ктесиклу никто не дал — платили, видно, потом, у хозяина, — и он о деньгах даже не заговорил. Выпил кружку разбавленного вина, рассказал что-то смешное и уехал. Корзины с кругами остались под навесом.

*

Наутро Николаю достался круг из новой партии.

Сначала всё шло как всегда. Металл тянулся, чаша росла. После первого отжига Николай повёл новый круг ударов от середины к краю и у самой кромки услышал не то. Бронза не звенела, а дребезжала, как надтреснутая тарелка. Он остановился и провёл по кромке пальцем. По краю шли волоски трещин, короткие, частые, один к одному.

Наклёпа тут быть не могло: металл только что из огня. Перегрева тоже: цвет Николай видел сам.

Он взял клещи и отломил от кромки кусочек с ноготь. Бронза хрупнула легко, как печенье. На изломе она была не ровной, золотистой, а в мелких серых крапинках. Николай ткнул в крапинку шилом. Шило вошло, как в пластилин, а рядом, по бронзе, скользнуло. Он потёр излом подушечкой пальца, и на пальце осталась серая полоска.

Этот металл он знал с детства. Мальчишками они плавили его на Волге в консервной банке из старых аккумуляторных пластин и отливали грузила. В гараже он пачкал о него руки, когда снимал клеммы. Свинец.

Каждая серая крапинка сидела в бронзе, как пора в сварном шве: вокруг металл держит, а в ней пусто. Тяни такой лист молотком — трещина пойдёт от поры к поре. Хоть до вечера бей, получишь сито.

Николай взял лёгкий молоток и пошёл к корзинам. Стукнул по верхнему кругу. Тот ответил долгим чистым звоном. Николай снял его, стукнул по следующему — тоже звон. Третий отозвался коротко и тупо, будто внутри у него была вата.

В гараже так простукивают крыло, купленное с рук: где голый металл, там звенит, где под краской шпаклёвка — бубнит. Николай простукал все корзины, сверху донизу. Звонкие складывал налево, глухие направо.

Глухие лежали не как попало. В каждой корзине сверху было по два-три звонких круга, а под ними начиналось другое. Так раскладывают черешню на рынке: сверху крупная, а что под ней — увидишь дома.

Вокруг опять стало тихо, как в первый день. Подошёл Онесим, постоял, взял у Николая молоток и стукнул сам — по левой стопке, потом по правой. Лицо у него потемнело: верхние круги он вчера проверял своими руками. Николай протянул ему отломанный кусочек и показал серые крапинки.

— Молюбдос, — сказал Онесим сквозь зубы.

Молибден Николай знал только по автомобильной смазке: на тюбике так и было написано — «с молибденом». Но Онесим держал палец на серой крапинке, и спорить было не о чем. Молюбдос — свинец.

Кричать Онесим не стал. Он сказал два слова мальчишке у мехов, и тот сорвался со двора так, что только пятки мелькнули.

*

Полемарх пришёл раньше, чем Николай отмыл палец. Посмотрел на две стопки, на корзины, на излом. Сам стучать не стал — послушал, как стучит Онесим. Потом отправил за ворота мальчика с дощечками.

Ктесикл явился к полудню, быстрым шагом, а за ним, поотстав, въехала пустая повозка. Полемарх сказал ему всего несколько слов. Ктесикл взял глухой круг, постучал по нему перст-

нем, послушал. Лицо у него сделалось сначала удивлённым, потом обиженным, потом гневным — по очереди, без спешки, как у актёра, который хорошо знает роль. Он приложил ладонь к груди и заговорил.

Слов Николай не разбирал, но разбирать было и не нужно. Ктесикл обводил рукой ворота, улицу, весь Пирей — меня тут всякий знает! — потом показывал на круги, потом куда-то в сторону города и повторял чьё-то имя — Кердон, Кердон, — всякий раз мрачнея. Изобразил, как льют металл. Изобразил, как его, Ктесикла, этим металлом обманули. Рубанул ладонью воздух: всё, с Кердоном кончено.

Эту песню Николай знал наизусть. В Тольятти её пел любой перекуп — так называли тех, кто скупает битые машины, подкрашивает и продаёт как целые. «Мне её такой продали. Сам не знал. С тем, кто продал, разберусь, больше у него ни болта не возьму». Слова у каждого были свои, мотив — один.

Полемарх выслушал до конца и ответил коротко. Показал на глухую стопку и махнул к воротам: увози. Потом развёл руки на ширину корзины и показал на пустое место под навесом: привезёшь другие. Забрал у мальчика дощечку, где был записан вес, закрыл её и оставил у себя. Деньги — когда будет годный металл.

На ВАЗе это называлось рекламацией. Николай не раз видел, как цех ругался с поставщиками из-за кривых штамповок: брак — назад, оплата — когда придёт годное. Здесь обходились без бумаг.

Ктесикл согласился сразу и со всем, не торгуясь. Это Николаю тоже было знакомо. Кто уверен, что прав, тот торгуется. Кто соглашается с ходу, тот торопится. Ктесикл торопился. Он то и дело оглядывался на навесы, откуда на него смотрела вся мастерская, потом понизил голос и сказал Полемарху что-то, отчего тот кивнул. Онесим тут же рявкнул на двор, и молотки застучали снова. Носильщики, которых Ктесикл кликнул из-за ворот, грузили глухие круги на повозку бегом. Новый металл, показал Ктесикл на пальцах, будет через три дня. Нет — через два.

Расколотую чашу, над которой Николай бился с утра, Полемарх в повозку не отдал. Велел отнести к себе в дом. Ктесикл проводил её взглядом и ничего не сказал.

*

Уже в воротах он остановился возле Николая.

— Николаос, — сказал он, и Николай удивился, что тот знает имя. — Скютэс.

И заговорил — тепло, громко, на весь двор, улыбаясь, показывая то на ухо Николая, то на повозку с глухими кругами. Хлопнул по плечу. Потом взял его руку, вложил в ладонь монету и загнул ему пальцы.

Николай разжал кулак. Сова, большая, тяжёлая, четыре драхмы — четыре дня работы. Он посмотрел на ребро. Чистое серебро, без розового.

У Вадика с авторынка деньги тоже всегда были чистые. Лет восемь назад Вадик пригнал к Николаю в бокс «Тойоту» вместе с покупателем — проверить кузов перед сделкой. Толщиномер, прибор, который меряет слой краски на металле, показал на пороге и на двери по два миллиметра шпаклёвки, и сделка сорвалась. Через неделю Вадик пришёл снова, при мужиках хлопнул его по плечу и сунул ему пятитысячную: за внимательность, сказал, уважаю. Николай не взял. Он знал, как это работает. Возьмёшь раз за внимательность — и в следующий раз сам не заметишь, как начнёшь мерить его машины помягче.

Он взял руку Ктесикла, положил сову ему обратно в ладонь и загнул пальцы — тем же движением.

— Охи.

Под навесом кто-то присвистнул и тут же застучал молотком громче прежнего. Полемарх стоял в трёх шагах и смотрел в сторону. Ктесикл засмеялся — легко, раскатисто, — развёл руками, бросил что-то Полемарху и вышел. Смеялся он хорошо, со вкусом. Только за воротами

обернулся ещё раз — не на Полемарха, а на Николая — и посмотрел так, как смотрят на номер чужой машины, чтобы запомнить.

*

Вечером Полемарх остался ночевать в Пирее. После ужина он позвал Николая во двор, к жертвеннику, где Лисий сидел со своими дощечками, и положил на ложе расколотую чашу.

Потом достал из-за пояса сову — большую, серебряную, такую же, какую Николай днём вернул Ктесиклу, — положил её на расколотую чашу и подвинул чашу к Николаю: за это.

Николай взял монету и по привычке проверил ребро. Полемарх это заметил, и усмехнулись оба. Эту сову Николай спрятал без раздумий: от хозяина и за дело — плата, а не крючок.

Потом Полемарх показал на ворота, туда, где днём стоял Ктесикл, и поднял ладонь высоко над головой:

— Политэс.

Опустил ладонь до плеча и показал на себя, на Лисия, на Николая:

— Метойкой.

Ещё ниже, к коленям, — на дверь, за которой спали рабы:

— Дулой.

«Дулос» Николай знал. «Политэс» разобрал сам: полис — город, как в «мегаполисе», а политэс, значит, человек города, гражданин. «Метойкос» он слышал впервые. Получалось, что хозяева этого дома, с креслом, жертвенником и мастерской на сотню человек, стоят на той же ступеньке, что и варвар в штанах. А Ктесикл — выше.

Полемарх снова поднял ладонь туда, где стоял Ктесикл, и сказал ещё одно слово — медленно, глядя Николаю в глаза. Слова этого Николай не знал. Но так, медленно и глядя в глаза, говорят «берегись».

Ночью в кладовой он долго не мог уснуть и думал про Вадика. Вадик тогда не стал ни ругаться, ни драться. Он полгода рассказывал по всему кооперативу, что Кузьмин берёт деньги с покупателей и находит шпаклёвку там, где её нет, — и полгода к Кузьмину никто не гнал машины на проверку.

Ктесикл тоже не станет драться. Здесь, похоже, били чем-то другим.

Выходило так: была у него теперь в этом городе работа, кладовая, поручитель и враг. И поручитель, и враг стояли на ладонь выше Полемарха.

Глава 8. Сто пятьдесят кораблей

Новый металл Ктесикл привёз через два дня, как обещал. Сам, с теми же носильщиками и с той же улыбкой.

Николай простукал всё, корзину за корзиной, сверху донизу, при нём. Звенело всё. Ктесикл стоял рядом, сложив руки на животе, и смотрел с интересом — так смотрят на чужую собаку, которая умеет приносить тапки. Когда последний круг отозвался долгим чистым звоном, Ктесикл первым захлопал в ладоши, и половина двора захлопала за ним.

Расплатился Полемарх в тот же день. Онесим вынес кожаный мешочек, и Ктесикл пересчитал сов по одной, не торопясь, и у каждой посмотрел на ребро. Николай это видел. Ктесикл видел, что он видит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.